

НЕ ТОЛЬКО О ЛЮБВИ

Мечты высококой вольный пленник

АЛЛА АНДРЕЕВА:

“Стихи он мне присылал из тюрьмы”

В комнате Аллы Александровны меня сразу привлекала небольшая картина на стене: узкая извилистая речка, устремленная в ущелье. Голубизна неба, бесконечность высоких гор выдавали профессиональную руку художника, но вместе с тем и реальность пейзажа.

— Где это? — спросила я. — Горячий ключ. Место, где Даниил Андреев дописал свою “Розу мира” и где я зарыла рукопись.

Так началась наша беседа с вдовой Даниила Андреева, Аллы Александровны принадлежит к тому типу женщин, которые видят свое предназначение в служении искусству. Но, будучи художницей, она отдала свое сердце поэзии. Восстановление рукописей, выход к читателям собрания сочинений Даниила Андреева стали смыслом ее жизни.

— ...Итак, 1958 год. Положение наше было тогда такое: Даниил умирал и знал, что умирает. У меня тоже была раковая опухоль, но ее вырезали, впрочем, это скучно рассказывать. Даниил в это время печатал “Розу мира” на машинке в двух экземплярах и попросил меня на всякий случай зарыть один экземпляр. Он, видимо, понимал, что умирали мы оба, и не было ничего, кому эти рукописи можно было оставить. И вот я упаковала рукопись в эмалированный бидон, поднялась одна на вершину дивного хребта и там, как мне казалось, сделала все очень грамотно. Нашла триангуляционную вышку, считая, что даже если ее не станет, основа останется, отсчитала по диагонали несколько шагов, зарыла бидон, на дереве вырезала православный крест. Позднее пришла на это самое место и написала вот этот пейзаж. 2 ноября 1958 года был день рождения Даниила, и я подарила ему эту картину.

Видимо, здесь что-то есть от моего тогдашнего состояния, вы не первая, кто останавливает на ней свое внимание.

— А ваше сокровище осталось там?

— Да, и я думаю, что этот бидон не найдет никто и никогда. Сколько лет прошло, лес разросся, найти в нем раздвоенное дерево уже нереально. К счастью, это и не актуально. Первый экземпляр не только удалось сохранить, “Роза мира” теперь напечатана, и это больше не болит.

А тогда... я привезла Даниила из Горячего ключа прямо в больницу. Жить нам было негде, комнату в коммуналке мы получили только за сорок дней до его смерти. И в эту комнату друзья его внесли уже на руках.

А что касается меня... логических оснований для моей жизни не было, а просто, видно, судьбе надо было, чтоб я довела дело до конца.

— Люди расценивают вашу заботу о рукописях как подвиг.

— Да не было никакого подвига. Это нормальная жизнь. Это — мое счастье, вот и все. Я прожила очень счастливую жизнь, и это очень просто, почему. Ведь нет никаких обязательных условий счастья. Даниил был человеком, беззаветно и полностью преданным своему долгу. А долгом он считал свое творчество, оно не было для него самовыражением, нет. Не занятие, не любимое времяпровождение, а долг, служение. Он был мечтой высокой вольный пленник. Пленник творчества. И совпадением наше состояние в том, что я к его творчеству относилась так же. Вот это и есть условие счастья.

— Но вы оба прошли через страшные испытания, тюрьмы, лагеря...

— Я думаю, что, если бы судьба наградила меня богатым мужем, я была бы самой несчастной женщиной. Это не мое, мое счастье — это моя жизнь: Даниил угадал, что я — та женщина.

— Как это случилось?

— Очень просто. Я была замужем за его другом, мне было 22 года. И довольно скоро где-то подозрительно я и полуподозрительно он начали понимать, что мы друг друга. Современной молодежи это смешно, но тогда для меня, замужней женщины, никаких взглядов в сторону не могло быть. Для него жена друга — свято, неприкосновенно. Моя жизнь с мужем начала разваливаться абсолютно независимо от Даниила. А потом война. Даниилу удалось вырваться с фронта в командировку, и нам уже ни о чем не понадобилось говорить. Ведь и дружба, и мое отношение к его творчеству — они уже были...

— А ваша фронтовая переписка сохранилась?

— Ее сожгли на Лубянке. Сожгли и его дневники. И роман “Странники ночи”, за который его посадили.

— Говорят, рукописи не горят?

— Пока мне отвечают: “Есть акт о сожжении”. Но кто знает...

Нас осудили в 1948 году. Следствие по нашему делу шло девятнадцать месяцев. Тридцать месяцев Лефортова, и полгода Лефортова. Потом

я поехала в Мордовский лагерь, он — во Владимирскую тюрьму, чего я не знала. Я просила маму написать, где он, мама боялась. Даниил просил ее дать мой адрес, мама боялась. Это говорит об атмосфере того времени. И о величии русской культуры, которая пробивалась сквозь все. Мордовский театр был таким, каким был — сквозь все. Даниил писал без надежды печататься. Эту эпоху нельзя обильвать одинаковыми помыслами. Замечательные люди, события, ситуации — они были и в эту эпоху. Но и ужас той эпохи был. Женщины сидели целыми ночами, глядя на дверь, прислушиваясь, не прозвонит ли звонок, — это очень трудно пережить. И когда наступало утро, был вздох: “В эту ночь не арестовали”. Это было у кого угодно.

А у нас был роман. Даниил читал его друзьям. Конечно, прокурору этого показало мало: не тянуло на “вышку”. И поэтому нам стали пришивать подготовку покушения на Сталина. Но был короткий период, когда смертная казнь была заменена 25 годами. Их мы и получили. А сколько людей расстреляно... На первом лагунке за забором нас, женщин, было две тысячи. Я не знала, где он, до 1950 года, когда получила мамин письмо, где были три слова: “Дядя Дана жив”. А в июне 1953-го я получила первое письмо от него самого.

В четвертом томе собрания сочинений будет опубликована наша тюремно-лагерная переписка. 28 его писем ко мне из Владимирской тюрьмы и мои письма. Говорят, что такой целой переписки того времени сохранилось мало.

Меня выпустили в августе 1956 года, и я сразу поехала во Владимир. Потом у нас были еще три свидания, а на четвертое я поехала, уже зная, что его увезли в Москву на пересмотр дела. Но Даниил нарочно оставил все черновики во Владимирской тюрьме. Меня провели к капитану Давиду Ивановичу Кроту. Он сказал, что мужа увезли в Москву. А я ему: “Но ведь он очень болен, он не мог ничего в руках нести, значит, он оставил вещи, я хочу их забрать”. Он вызвал каптерщицу, попросил принести его мешок. И тут произошла сцена, которую трудно понять человеку, который не сидел. Я стала все вынимать из мешка, а Давид Иванович говорит мне: “Не надо”, а каптерщица: “Можете идти”. А когда она вышла, он очень внимательно посмотрел на меня и сказал: “Забирайте все и уходите”. И только тут я все поняла, схватила мешок и ушла. Он все знал. Он отдал рукопись, хотя рисковал. Позднее я пыталась его разыскивать, но он умер. В третьем томе сочинений Д. Андреева будет его фотография.

И вот я вышла, села в автобус, сунула руку в мешок и достала рукопись. Это был черновик “Розы мира”.

Стихи он мне присылал из тюрьмы. Последняя страница каждого письма Даниила — это стихи.

Возвращение поэта было очень трудным. 30 марта 1959 года я осталась одна. Через 28 лет один друг, Борис Владимирович Чуков, отнес подборку стихов в “Новый мир”. Я орала: “Боря, хотите по морде получить еще раз?” А он кричал на меня: “Другое время, пора”. Он оказался прав. “Новый мир” напечатал первую подборку стихов, а Борис Николаевич Романов — из издательства “Советский писатель” — выпустил первую книгу стихов “Русские боги”, по названию одного из основных произведений.

До этого было только одно издание — в 1975 году Лев Адольфович Озеров пытался сделать сборник, но разрешил напечатать лишь тоненькую книжонку, где не было ни одного неисконченного стихотворения, хотя это были стихи о природе и отрывки из поэмы “Ленинградский апокалипсис”. Я не плакала, но, взяв в руки эту книжку, я расплакалась. Потом вышла “Железная мистерия” и, наконец, “Роза мира”. К сожалению, она встречена молчалием и недоумением серьезных людей. Есть, конечно, люди, которые понимают, что эта книга — огромное явление культуры. Обидно, что книга целиком свачена многими абсолютно недостойными оккультными сборниками. Эти безумцы сделали очень страшную вещь — используя “Розу мира” в общем компоте с такими, как Блаватская, они вызвали резкую реакцию на книгу части православных священников. Я не считая, что эти священники правы, но я их понимаю.

Печально, что как резкие хулители и гонители “Розы мира”, так и ее безумные почитатели отличаются общей странной чертой: они эту книгу не читали. Они ее полистали, и все. Серьезного разбора книги “Роза мира” до сих пор нет. Удивительное дело, но полным молчанием встречен и вышедший первый том собрания сочинений, эта названная Даниилом Андреевым “поэтическим ансамблем” книга из двадцати глав “Русские боги” не нашла адекватного отклика в нашем обществе. А между тем этой книге довольно, чтобы понять, что к читателям возвращается очень боль-

шой русский поэт. Возможно, это молчание временное. Думаю, что, если бы Даниил Андреев был явлением меньшего масштаба, о нем заговорили бы быстрее. Кстати, когда вышла первая книжка “Русские боги”, на литературном вечере люди не только заполнили зал, они сидели во всех фойе. На презентации первого тома было то же самое.

Постепенно Даниил Андреев возвращается к нам. Постепенно из просто “сына знаменитого русского писателя” или из одного из узников сталинских лагерей он превращается в сознании многих в прекрасного поэта, мудрого философа. К нам возвращаются его произведения, становятся фактом культуры его письма, его мысли, его трагедия — его жизнь. Эта публикация — беседа корреспондента газеты “Культура” Гортензии Владимировой с вдовой Даниила Леонидовича, его письма — наш небольшой вклад в добрый процесс возвращения поэта.

— А будете ли вы представлять второй том?

— Пока не хочется из-за этих проклятых оккультистов. Вот выйдет третий том (сейчас идет чистка корректуры), и, вероятно, в начале следующего года это надо сделать.

— Будет еще и четвертый том?

— Да. Письма и воспоминания. Туда войдет все то, что удастся собрать, поэтому мы расцениваем его как дополнительный к основному собранию сочинений в трех томах.

— Не кажется ли вам, что мы просто не успеваем освоить лите-

ДАНИИЛ АНДРЕЕВ:

“Господи, до чего же нам нужно быть вместе!”

5 апреля 1955

Любимая моя, а у меня началась, очевидно, хорошая полоса. Здоровье отлично. Во-вторых, кончился, наконец, период “бесплодия”, длившийся свыше года. Это стимулируется еще и тем, что теперь у меня на руках черновики, кот.(орые) я не видел несколько лет и на 3/4 был. А в третьих — я встречаю к себе человеческое отношение, и сказано оно, между прочим, и в том, что близкий человек, о кот.(ором) я упоминал и общении с которым для меня

преждевременен. Мне думается, что в будущем году нашей жизни наступит резкий перелом и все будет наверстано гораздо скорее, чем это кажется сейчас, и безмерно обогащено пережитым. Но Господи, до чего же, до чего же нам нужно быть вместе! Как хорошо, глубоко, творчески обогащающе влияли бы мы теперь друг на друга! А то, что внутрен.(ний) путь каждого из нас окрашен по-своему, только хорошо. Полное совпадение во всем только обидно бы и сузило бы нас обоих. Складывается у нас, м.(ежду) пр.(очим), и укоренившаяся враждебность ко лжи. Знаешь, даже если при мне лжет кто-нибудь, меня охватывает чувство, похожее на глубокую скуку, и я теряю к этому человеку всякий интерес. 4-5 лет назад мне еще случалось иногда солгать в какой-нибудь (удь) мелочи. Теперь нет. Только ради какой-нибудь шутки. (И вот разве еще тебе — насчет гриппа. Прости уж, Бога ради)...

3 января 1956 г.

Солнышко, приходится поздравлять тебя с Нов.(ым) Годом во второй раз! Очень хочу знать, как вы его встретили. Я улетаю, когда полагается, в расчете на то, что если я постоянно не сплю по полночи, то в новогоднюю ночь тем более не пропущу 12 ч.

Боролся-боролся со сном и — задремал. А когда друг, услышав 12-часовые звуки, произнес поздравление, я, ничего не соображая, пробормотал почему-то “спокойной ночи!”, только тогда понял, в чем дело, развеселился и потом не мог уснуть и в самом деле, думая о тебе и о всяких наших с тобой делах.

К сожалению, декабрь принес ухудшение. За весь месяц я смог выйти на прогулку 2 раза и оба раза жалел, что вышел. Большую часть времени лежу, и не ради профилактики, а по необходимости. Три-четыре часа в день сидения за столом — это потолок моих возможностей. Нитроглицерин приходится глотать почти ежедневно, сейчас прохожу опять курс вливания глюкозы; но результаты пока не заметно. Голова, конечно, ясная, читать и заниматься могу, но 1/4 часа походил по камере — и опять те боли, с которых год назад началась знаменитый приступ. Вот тут-то и спасают грелки на грудь и на спину и нитроглицерин. Вот почему я хотел бы не двигаться нигде до апреля. Поэтому в затяжке решения прокуратуры есть, как ни странно, и своя хорошая сторона. Кроме того, самый факт затяжки является скорее хорошим, чем дурным признаком, так как отрицательные решения обычно выносятся быстро. Вообще на этот счет я настроен оптимистичнее тебя и опираюсь при этом на мнение людей, имеющих возможность разбираться в этих вещах гораздо лучше меня. Подосеенный не кажется мне пустой мечтой, а 101 км. — тем более. Лично передо мной маячит еще и другой вариант: инвалидный дом где-нибудь поблизости, хотя бы на тот период, пока ты прочно обоснуешься на новом месте и я смогу дотянуть дотуда свою бременную оболочку.

Дорого дитя, цель твоих ежедневных требований производят впечатление кошмара, а если учесть, сколько лет это длится, то ничего не может казаться естественнее, чем та предельная вымотанность нервной системы, которая сквозит в твоих письмах. Ты пишешь “надо быть грубее”. Надо или не надо, но это само происходит — и не может не происходить — в победных условиях со всяким. Иначе остается только отдать Богу душу. А что касается желательности этого, то, по-моему, следует делать различие между двумя оттенками понятия “быть грубее”, весьма различными. Если под этим понимать заигрывание с психикой, понижение раздражительности внешними впечатлениями, то это, конечно, желательно, потому что психика иначе не может выдержать. Нежелательна другая сторона медали: зачерствелое, жесткое отношение к людям. Это совершенно неизбежно, абсолютно никому не нужно, но, к сожалению, очень часто сопутствует общей психологической загубленности, причем тут как тут оказываются “теоретические” оправдания вроде гнусной поговорки “с волками жить — по-волчьи выть” и т.п. И хотя я не занимаюсь подобными самооправданиями, но и с моей стороны проявляется порой такое отношение к людям, вызывающее во мне каждый раз сильное негодование собой. Отрубил я хотя бы в одну точку, что столько лет живу в исключительно мужском окружении. Ты и представляешь, какое облагораживающее влияние имеет женское общество: ты все время валяешься в нем, со всей его исключительностью, и поэтому преисполнился к нему отвращением, далеким от объективности... За этот период я стал относиться к людям менее требовательно, стараясь возможно тщательнее учитывать множество факторов и обстоятельств, определяющих твои или иной поступок, ты или иную линию поведения. В числе моих выводов, сделанных из наблюдений над людьми, есть один, говорящий о неимоверной сложности и противоречивости человеческой психики, характера, поведения. В одном и том же человеке уживаются такие, казалось бы, взаимоисключающие черты, сочетание каких не силось и Достоевскому. Поэтому я могу вынести, так сказать, нравственное “осуждение” кому-либо лишь в очень несчастных случаях. Убежден, что это правильно и то, когда изменяется твои жизненные условия, запечатать хотя бы отчасти твои душевные раны, ты еще многое переосищаешь в людях, и родная, некоторые свои приговоры и выводы признаешь слишком поспешными или слишком узкими. В частности, нельзя делить людей на овец и козлиц в зависимости от того, хорошо или дурно относятся они к нам с тобой, и даже в их жизни.

Светик мой, раньше, чем ты получишь это письмо, наступит сочинский, это день, который я всегда праздную как наш с тобой день, он стал для меня олицетворением всего периода нашей совместной жизни, даже, пожалуй, вообще нашей любви. Да, уж мы-то говорить на разных языках не будем, несмотря ни на какие мета-

очень важно и ценно, теперь со мной. Тебе, наверное, это покажется совсем дико (да и действительно стыдно об том говорить) но, как теперь любять выражать, “факты показывают” и “факты доказывают”, что мне не хватает времени. Литерат.(урные) занятия, хинди плюс прогулка, краткий отдых за шахматами — и дня уже нет. Еще 2-3 часа лежишь без сна, но и это время весьма продуктивно.

А вот приходится, родная, принести повинную и в другом, более серьезном. Ты спрашиваешь, не имеет ли отношения мое сердечное заблуждение к гриппу. Каюсь: грипп я выдумал, потому что боялся, что известие о сердечном

припадке, полученное вдруг, вызвало бы тебя гораздо сильнее, чем это заслуживает самый факт. Что касается гриппа и вообще каких бы то ни было простуд, то я давно уже забыл, что это такое. Пора сказать тебе одну вещь, которую ты сумеешь правильно, не испугаться и не осудить меня, не подумав, что я сошел с ума

с мамой, когда мне придется поставить ее в известность об этом), потому что ты знаешь, как много в разную погоду и даже по снегу я ходил босиком-раньше. Дело в том, что целый ряд побуждений, и психических, и физических, привел меня к тому, что я отказался от обуви почти совершенно. Исключая короткое время, когда я лежал из-за сердца или с прострелом, я всю зиму проходил босиком, хожу, конечно, и теперь, и только в сильные морозы надевал, на половину прогулочного времени, тапочки на босу ногу. Воздействие этого, в особенности хождения по свежому снегу, на зловрепы совершенно поразительно. О том, что ко мне забыли дорогу какие бы то ни было простудные заболевания, я уже говорил. Во-вторых, за 5 последних месяцев голова у меня начинала болеть только раз 3-4, именно начинала, сразу же унимаясь от одного порожка: явление, прямо-таки неслыханное, так как до сих пор головные боли мучали меня в среднем 4 дня в неделю. В-третьих, между состоянием нервов летом-осенью прошлого года и сейчас нет ничего общего. Ровное, бодрое состояние, жизнерадостность, работоспособность. В-четвертых, радикулитные боли уменьшились, и, надеюсь, в недалеком будущем о них останутся только печальное воспоминание. Совершенно уверен, что преодолюю эти и сердечные недуги. А что до психо-физического удовольствия, вернее сказать, наслаждения от хождения босиком по свежому снегу или в морозец, то оно неописуемо. Во всяком случае, я не испытывал ничего, ему равного, со времен купания в Дону. Да и как может быть иначе, если я чувствую с предельной ясностью, как от земли, от воды, от льда, от снега проникает в меня такое излучение, что — впрочем, лучше как-нибудь опишу тебе это впоследствии... Если что меня невозможно беспокоит, так это вопрос, как же быть с этим после освобождения. Вернуться к обуви я, по всей видимости, уже не смогу, а перманентный конфликт с законными предпрасудками, претендующими на то, чтобы быть чуть ли не нормами общественного поведения, — дело не шуточное. Обычно такие вещи прощаются только людям с громким именем — Толстому, например.

То, что ты писала в предпоследнем письме о некоторых жизненных выводах, я понимаю и принимаю полностью. Кроме одного: твоего воззрения на собственную жизнь как на неудавшуюся.

Я не могу в письме развить должную аргументацию против этого, только скажу: вывод



ратурное богатство, свалившееся на нас в связи с открытием целого пласта русской литературы далеко зарубежья, доселе знакомой лишь немногим?

— Я бы сказала, что при любом разговоре о русской культуре XX века надо иметь в виду не две ее стороны, а три: культура, рожденная в родине, в зарубежной эмигрантской диаспоре и — в тюрьме. Достаточно назвать имена В.Шаламова и А.Солженицына, чтобы понять, как сильна эта третья сторона.

— А когда вы сами начали публично читать его стихи?

— В 1987 году я была в Париже в гостях у племянника Даниила, сына его старшего брата Вадиима. И он пригласил меня на вечер одного русского поэта. Там я и прочла несколько стихотворений. После этого Саша устроил вечер в одном частном доме, где хозяйкой была русская женщина. Все прошло очень хорошо, и, вернувшись в Москву, я пригласила вот в эту комнату человек двадцать. Пошли пригласения. Сначала у того, другого, а потом пошли уже библиотеки, дома культуры повсюду — от Владивостока до Праги и Лондона. Приглашало университеты — Ижевский, Ивановский. Выступала я в Череповце, в Вологде, Ярославле, Петербурге, Смоленске... Но всегда — когда кто-то лично за это берется. Такие люди есть и за рубежом.

А Татьяна Борисовна Туманян создала фонд Даниила Андреева. Основная цель — издать полное собрание сочинений, уберечь авторское наследие от пиратских публикаций и перепечаток. Фонду переданы все права на издание рукописей, в том числе и подготовку зарубежных изданий. Активно готовится фонд и к 90-летию поэта, которое будет отмечаться в 1996 году.

Алла Александровна показала мне хрупкие странички писем. Мелкий бисерный почерк. Угасающий след фиолетовых чернил. На обратной стороне письма-стихи, еще более убористо начертанные.

Отрывки из неопубликованных писем мы сегодня печатаем.

культуры и трансмифы. Кстати, убежден, что эту лексикку ты примешь, но нескорее, когда ознакомишься толком со всем. Храни тебя Бог. Целую и обнимаю.

28.I-2.II.56

Светленькое мое дитяtko, прежде всего передай, пожалуйста, несколько слов маме. А именно: что я не только благодарен, — больше чем благодарен за ее посылки, но они мне буквально надрыдают душу; что такое расточительство средств и, что еще важнее, ее сил для меня совершенно невыносимо; что моя особая благодарность за теплые белье, его я, конечно, ношу, но необходимости в нем нет так же, как и во всяких лакомствах. И, самое главное — что я умоляю, закликаю, прошу и настаиваю, чтобы она двинулась как можно меньше и никаких нагрузок, без кот.(орых) можно обойтись, на себя бы не взваливала. А вот если бы она почаще писала — было бы очень хорошо, т.к. я очень переносился, целый месяц не получая от нее писем. Пускай письма будут грустными, лишь бы были.

А тебе, Листик, совершенно особое спасибо за последнюю карточку. Все остальные я вклеиваю в альбомчик, кот.(орый) есть у меня для фото и для твоих открыточек (в нем так же несколько придворил Москвы), но эту последнюю карточку я пристроил в чудесной рамке так, что она у меня всегда перед глазами. До чего смешно вспоминать, на нее глядя, твои сетования по поводу якобы исчезновения твоей красоты и привлекательности. Да встреть я такое лицо на улице, я, как в 20 лет, пустился бы выяснять, кто это, и адрес. А что это за беленькая штучка у тебя на голове? Козья шерсть или оренбургский платок?

Ну получил я долгожданное решение. В сущности, ничего нового, никакой перемены не будет. Это меня не очень взволновало, хотя, конечно, можно было ожидать всего, чего угодно, кроме этого. Оно находится в плачевном противоречии с 1) фактами. 2) здравым смыслом. 3) духом сегодняшнего дня — как я этот дух понимаю. Конечно, под эти неподходящими “духами” лежат некие гораздо более устойчивые и живучие принципы. Очень тревожно за стариков, особенно за маму, как она это перенесет. Сама понимаешь, как напряженно жду известия от тебя — каково решение на твой счет, а так же о другом. Все же надеюсь, что к тебе проявит иное отношение. Кроме того, непременно напиши: при том порядке вещей, кот.(орый) сейчас установлен в ваших палестинах, не сможешь ли ты когда-нибудь уезжать в отпуск? И если да, то уедешь ли — в Москву? В последнем случае — открываешь перспектива свидания с тобой здесь. Думаешь ли ты писать куда-нибудь и что именно? Если ты что-нибудь пообещаешь мне, я так и сделаю. Ведь тебе видней. До этого нигде писать не буду.

Получил твою телеграмму и сейчас — письмо с Иваном Великим. Не могу как следует влезть в толк: неужели тебе все оставлено без изменения?! Это что-то уже совсем непонятное, выражаясь мягко. У меня все-таки есть изменение (никакого практического значения не имеющее): оно заключается в том, что все признано не попыткой, а только намерением. Старик, особенно мама, не выходит из головы. Живы-то живы, но представляю, что с ними делается. Но если мне придется писать новое заявление, плохо представляю, что и как писать, чтобы не дублировать написанного в ноябре 54-го. Главное же, Листик зеленелький, ты так взволновалась за меня и так жалеешь меня потому, что не видишь воочию, как я живу и в каком душевном состоянии нахожусь. Волноваться нет абсолютно никаких оснований. Как нарочно, в последние дни даже здоровье вдруг сделало прямо-таки странный скачок вверх. Возможно, что в этом заболевании имеется какая-то цикличность, и как в прошлом году декабрь и январь ознаменовались пресловутым приступом, так и в этом году нечто подобное подражает именно в эти месяцы и отошло вместе с ними. Думал одно время, что повинны сильные морозы, но вот сейчас с ниже 30°, а чувствую себя хорошо. Вообще надо сказать, что я стал гораздо меньше забывать, чем в 45-47, только голова ненормально чувствительна к холоду. Но гулять в такую погоду не могу, т.к. целый час ходить не в состоянии, а сидеть — продрогнешь. В умственном отношении активность моя повышается. Вот тебе исчерпывающая картина моего состояния. Отмечай его только мысли о тебе и о драгоценных наших старичках. И об остальных, поскольку теперь я начинаю подозревать, что у них все осталось без изменений.

Да, Козлинька, видеть и жить друг с другом нам прямо-таки необходимо. Многие, очень многие разногласия, из-за которых мы ломаем эпистолярные копья, рассеялись бы, и притом (представь себе такое нахальство) я уверен, что рассеялись бы, так сказать, в мою пользу.

Прости за сумбурность письма: на этот раз пишу без черновика, поэтому так и получается. Хочу невозможно о бытовых мелочах. Мою знаменитую шубу еще в прошлом году переделали: укоротили, сделали хлястик, и получились нечто вроде полушубка. Очень легко и симпатично. А из отрезанной полы сделана шапка, вернее, шлем необычайного, мною самим изобретенного фасона, с мыслком на переносицу и с плотно прихвачивающимися уши приamoугольными выступами. Ничего более тепло и удобно, но я на голову никогда не надевал. К сожалению, однако, я в ней почему-то делаю похож на “великого инквизитора”. А один человек прозвал меня “нибелунг-вегетарианец”.

С другом никогда не жили так хорошо, как теперь. Без теплоты, участия и взаимопонимания, исходящих из этих отношений, было бы несравненно труднее жить. Но в этом году нам предстоит, вероятно, расстаться и боюсь, что навсегда. Тебе, конечно, он шлет горячий привет.

Говорят, разумный человек должен уметь во всем находить положительную сторону.